

НАЧАЛО ФИЛОСОФИИ*

(из цикла «Греческие мыслители»)

Когдаходишь в книжный магазин Саши Ерофеева, расположенный на первом этаже философского факультета университета, представляешь, как тяжело, наверное, бывать здесь впервые: студентом первого курса, не знающим еще различия между Кантом и Контом, Платоном и Плотиним, Анаксименом, Анаксимандром и Анаксагором, или дилетантом — бывшим генетиком, физиком, офицером, а ныне «простым советским» безработным, решившим начать новый цикл своего существования с изучения «самого главного»; или провинциальным интеллектуалом, стремящимся приподнять уровень личностной идентификации на новую ступень. Пожалуй, только курсу к третьему перестаешь метаться в этом изобилии философских книг, в смешанных чувствах осознавая тот факт, что уже не хочешь приобрести и прочесть их все разом, чтобы знать все, что в них записано. Начинает приходить на ум Гераклитово «многознание уму не научает» или Екклесиастово «во многом знании много печали», или еще какая-нибудь декадентская белиберда. Кто-то при этом испытывает пресыщенность чтением или растерянность другого, софистического рода, порождающую скепсис из накопившегося знакомства с множеством противоречащих учений. И тогда человек, с определенной долей разочарования и удовлетворенности достигнутым возвращается в мир обыденной реальности, становится бизнесменом, политиком, дворником, официантом, в лучшем случае — актером или художником. Но кто-то понимает и главное: чтобы отворить эту скрипучую и невероятно тяжелую дверь в мир самостоятельно парящих сущностей, не нужно было нажимать на нее плечом. На самом деле нужно было совершить усилие обратного свойства — разучиться всему, что умел, разувериться во всем, что знал, и понять главное — «продуктивность мыслящей лени». И в этом нет ничего странного и парадоксального. Работа мысли, развивающей самое себя, может совершаться только в том, кто не то чтобы не испытывает нужды в ежедневном труде в других областях, но понимает тщетность и суетность такого рода усилий и в силу этого отказывается от них. Просто ты повторяешь путь, когда-то начатый в масштабе человечества.

Правда, происхождение философии связывают и с другими вещами. Такими, например, как «особый абстрагирующий язык индоевропейской расы» или «экстатический оргазм древнейших мистерий», подавленный гармоническим культом олимпийской религии, или особая «архетипическая символика» греческого религиозного сознания, или специфика культовой жизни древнегреческого общества, которая вроде бы оставляла место для опытов чистого, не связанного с религиозной верой, созерцания, или «республиканский» уклад крупнейших центров, где среди скопления людей и мнений родилась интуиция первых «логосов», либо это «культурный переворот», вызванный спортивной, соревновательной ориентацией греческого духа. Конечно, все это немаловажные и правильно указанные обстоятельства.

Однако я бы хотел оттенить значение другого: начало философии открывается осознанием самоценности «деятельного бездействия», создавшего прецедент

* Впервые рассказ опубликован в журнале «Санкт-Петербургский университет». 1999, № 23.

«удивленного созерцания». Когда происходит это осознание, известно — приблизительно с конца VIII — в течение VII вв. до н. э. Но почему оно происходит — вопрос, остающийся не выясненным до сих пор. То есть знание об этом существует более двух с половиной тысяч лет, но правильнее будет сказать — нам только кажется, что мы обладаем знанием, которое существует более двух тысяч лет, потому что имеем дело с легендой.

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что мы имеем дело с едва ли не самой молодой среди других традиционных профессий: все «древнейшие» из них к этому времени уже сформировались задолго до возникновения философии. И факт этот, разумеется, вовсе не является характерным только для Древней Греции, а скорее — достоянием любого более или менее развитого общества любого времени. При этом возникновение философии происходит в среде высоко-профессиональной деятельности — политической. Нужно ли говорить также, что и религиозно-поэтическая и научная деятельность, феномен которых часто смешивают с философской, имеют к этому времени уже многотысячелетнюю историю в странах Востока и Африки. Первые же, кого полагают достойными этого имени, еще не философы, любители мудрости, а мудрецы как таковые. Которых Семь. Сразу скажем, что это представители наиболее популярной профессии всех времен — политики своих городов, т. е. люди, обладающие влиянием на все стороны жизни сограждан: не просто те люди, с именем которых традиция связывает факт превращения естественного закона в юридический, но вместе с тем и выдающиеся поэты и ученые своего времени.

Легендарно-биографическая традиция упорно возвращает нас к известию о том, что мудрецов было Семь. Но при этом она же приводит около двадцати имен. Для нас это важно только с той точки зрения, что явное несоответствие гармонического символа и исторических данных свидетельствует не столько о конкуренции заслуг, сколько о симптоматических проявлениях деятельности целой категории людей, профессией которых становится не трансляция божественной мудрости (этим занято во всех эпохах жреческое сословие служителей храмов), выраженной в науках и знании мифологической истории мира, а аккумуляция в своей собственной голове мудрости общечеловеческой. Иначе говоря, это были первые счастливицы, которые не только рождением и родовым богатством, но и своим вкладом в устройство чужих жизней заслужили у современников право на «деятельную праздность». И к этой своей итоговой деятельности были призваны одним из наиболее грозных богов Олимпийского пантеона — Аполлоном, отвечающим в своей команде за соразмерность всего.

Вот их имена. Клеобул — из города Линда, который род свой возводил к Гераклу, отличался силой и красотой и полагал, что «воспитание нужно и девушкам». Питтак — из Митилены, которого враги и злопыхатели обзывали «пузаном и распустехой» за то, что он вечно ходил «распоясанный и грязный». Тираном Коринфа был Периандр, мудрость которого выразилась, в частности, и в том, что сначала он убил жену свою брошенной в припадке гнева скамьей, поверив наговорам своих наложниц, а затем наложниц съел живыми. Биант — из города Приены, которого одни называли богатым человеком, другие — захребетником, известный фразой: «Нажива — приятнее всего»; Хилон, лакедемонянин, умерший «от избытка радости и старческого слабосилия». Афинский законодатель Солон, имя которого каким-то необъяснимым образом созвучно с именем нынешнего декана философского факультета. Он был прославлен во многих историях прежде всего тем, что, подарив афинскому народу «деревянные законы» («кто выколот глаз одноглазому, тому за это выколот оба глаза» и т. д.), сам отказался от авторитарного правления, уступив ее тирану Писистрату ради пользы афинян. И, наконец, мудрейшим стал Фалес из столицы малоазийского Двенадцатиградия — Милета, поскольку первым обратил умозрение к природе.

Совокупная легендарная биография этих людей насыщена почти невероятными событиями: воспитанием людей и мулов, изобретением солнечных часов и исчислением высоты пирамид, поступками невероятного самоотречения и странными поворотами жизненного пути, падениями в яму во время ночного наблюдения за звездами, растратами наследственных состояний и демонстративно-показательным обогащением. Но они так и остались бы в исторической памяти не мудрецами, а «просто умными людьми», если бы совокупная мудрость этого первого поколения греческих мыслителей не выразилась в их знаменитой апофтематике — кратких изречениях, толкованием и развитием которых, если разобраться, занята философская мысль до сих пор.

Изречений много и все они чрезвычайно мудры: не размахивай руками, не колоти пьяного раба, не напивайся вусмерть сам и т. д. Но тех, от которых берет начало философия, пожалуй, три: «Все в меру» — декларация научной исчислимости окружающего мира; «Познай себя» — обращает установку исчислимости на внутренний мир человека, и третье объединяет первые два, фиксируя рождение первого и главного философского логоса — из обычного слова всякого языка — слова «есть» — Дельфийская буква «Е» (эпсилон). Первая буква обращения к богу в активном причастии, образованном от «есть» — «Сущий» — рождает первое и основное понятие всякой философии — «бытие», или «то, что есть». Историю этих символов замечательно передает нам поздне-платонический трактат Плутарха Херонейского «О Дельфиском Е».

Все три изречения были посвящены в храм Аполлона Дельфийского, самого сведущего бога в древнегреческом пантеоне, поскольку, будучи покровителем мантики и ведовства, он легко знал все прошедшее, настоящее и будущее, а преворая это знание в перфекты, презенсы и футурумы, да при этом придавая ему вид условно-подчиненных предложений, положил начало диалектике: «если было это, то есть вот это, и обязательно будет вот то». Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что вхождение в храм Аполлона в Дельфах — в своем роде наиболее популярное прорицалище греческого мира — заменяло эллинам вхождение в магазин, торгующий философской литературой. Тем более, что в этом самом начале философии мы сталкиваемся почти с полным отсутствием школьной традиции. В VII в. до н. э. мудрость еще не является предметом институционально оформленного преподавания, а воспринимается современниками и потомками Мудрецов как исключительный дар божества. Сразу возникает проблема мировоззренческого свойства: в таком случае не берет ли философия свое начало в культе этого бога, т. е. не является ли философия порождением религиозного менталитета древних? Но факты, способствующие данной точке зрения, являются проблемой только для историков философии, стремящихся секуляризовать идеологические акценты в исследуемых феноменах культуры. К счастью, подобная секуляризация далеко не единственный и не совсем объективный подход. Изучая структуру такого феномена культуры, как философское учение, мы должны видеть не только его измеримую идейную, логическую, социологическую представленность, но и сложнейшую интуитивную многозначность его происхождения. А здесь уже мы имеем дело не только с фрейдистской и неопрейдистской архетипической методологией, но и со всем многообразием религиоведческих подходов.

Двусмысленные советы оракула, как и надписи Семи мудрецов, исполненные глубочайшего многомыслия, служили началом философии, или «любви к мудрости» для последующих поколений греческих интеллектуалов. И дело даже не в отсутствии книжных лавок, мы как раз таки знаем о значительном обилии таких в городах древнегреческого мира. Я хочу сказать, что современный человек, при отсутствии храма философствующего бога, видимо, некоторым образом повторяет это начало в своем индивидуальном опыте, когда, например, входит в книжный магазин, заваленный доверху философской литературой, где взгляд его

поражает многомыслие и многословие книг, написанных, по сути дела, об одном и том же предмете. Человек маркетинговой цивилизации входит в храм своего времени, в котором по-прежнему процветает божество познания и по-прежнему требует пожертвований для своего существования. Разнообразие суждений, представленных здесь, шокирует и сбивает с толку, но оно уже не может быть (как, впрочем, и не могло быть никогда) элиминировано, но может быть упорядочено знанием истории представленных здесь суждений. Это знание называется историей философии.

Да, совсем забыл: само же слово «философия» принято к употреблению человеком уже следующего поколения греческих мыслителей — Пифагором. Но об этом мыслителе — отдельный разговор.

А. В. ЦЫБ

ЭТРУССКОЕ ЗЕРКАЛО*

(из цикла «Борхесианские исследования»)

Моему другу Андрею Петрову

«Дело в том, что дальше идет необыкновенно длинная и суровая речь о зеркале, предмете настолько ужасном, что Пудент едва не надорвался, восклицая: “У философа есть зеркало! Философ обладает зеркалом!”»

Апулей. «Апология, или Речь в защиту самого себя от обвинения в магии»

Сейчас я рассказываю только свою собственную версию события, которое произошло в тот необычный июньский день. И сразу хочу оговориться, что всякая версия, изложенная доверительно, — не более чем версия. И это происходит даже не потому, что все на свете «таково не более, чем таково». Дело даже не в этом. А скорее в том, что всякий человек, если он стремится показаться справедливым, рассказывает только то, на что он имеет право, и обязан опустить в своем рассказе то, что может составить мнение другого очевидца. Стремясь к справедливости в суждениях, я полагаю, следует оставить за пределами версии и свои догадки о вещах, ставших причиной повествуемых событий, как бы истинны они ни казались рассказчику, если эти догадки могут быть хоть как-то неправильно истолкованы. Ведь что чаще всего бывает предметом праздных и противоречивых истолкований, как не вероятностное знание? Я хочу предупредить об этом потому, что от другого очевидца, скорее всего, можно будет услышать совершенно иной вариант этой истории, на что, впрочем, любой рассказчик, как любой внимающий имеет свое собственное полное право. Ведь каждый рассказчик — мера своих историй, истинных, поскольку они истинны для него, и неистинных, поскольку они для него не истинны. Итак, только факты. . .

В не очень раннее утро того самого дня Андрей Вениаминович Камнев внимательно рассматривал изображение своего лица по ту сторону серебряной глади. Он имел привычку смотреть в зеркало только дважды день: утром и вечером. Поэтому, что был глубоко убежден, что зеркало — именно тот предел мира, который

* Впервые рассказ опубликован в журнале «Санкт-Петербургский университет». 2000, № 24.

© А. В. Цыб, 2002